

**М.Е. Салтыков-Щедрин**

**Статьи. Журнальная  
полемика**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 32  
ББК 66  
С16

С16      **Салтыков-Щедрин М.Е.**  
Статьи. Журнальная полемика / М.Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2021. – 688 с.

**ISBN 978-5-4241-3111-0**

Самое полное и прекрасно изданное собрание сочинений Михаила Ефграфовича Салтыкова — Щедрина, гениального художника и мыслителя, блестящего публициста и литературного критика, талантливого журналиста, одного из самых ярких деятелей русского освободительного движения.. Его дар — явление редчайшее. трудно представить себе классическую русскую литературу без Салтыкова — Щедрина.

**ISBN 978-5-4241-3111-0**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2021  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2021  
© М.Е. Салтыков-Щедрин, 2021





# СТАТЬИ

## СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЗРАКИ<sup>1</sup>

(Письма издалека)

*Le globe est confié à l'humanité comme un domaine à la question duquel elle est proposée. C'est là sa destinée terrestre. Or, elle ne peut accomplir cette question pendant son enfance, car on conçoit bien qu'elle doit avoir conquis, pour être apte à pareille oeuvre, de la sève et de la force: il faut qu'elle se soit créé des instruments, des moyens de puissance qui ne lui viennent qu'à la suite du développement des arts, des sciences et de l'industrie.*

*Victor Considérant, «Destinée sociale»<sup>3</sup>*

1

Что миром управляют призраки — это не новость. Об этом давно уже знают там, на отдаленном Западе, где сила призраков сказалась массам с особенною настоятельностью, где много писали о призраках, где не только называли их по именам, но делали им подробную классификацию, предлагали даже средства освободиться от них. Мы, люди восточного мира, не можем последовать этому последнему примеру, во-первых, потому, что сами еще плохо знаем, какие, собственно, наши призраки и какие чужие, а во-вторых, потому... ну, да просто потому, что не можем. Понятно, следовательно, что, приступая к такому деликатному сюжету, мы обязаны действовать с осторожностью и говорить больше обиняками. Добросовестный читатель оценит всю затруднительность такого положения.

Принято за правило наше русское общество называть молодым. Коли хотите, оно и молодо и старо в одно и то же время; молодо в том отношении, что не успело или не умело выработать из себя ничего самобытного, то есть никаких своих собственных призраков; старо — в том отношении, что существует в силу установившихся и как будто окрепших форм жизни... в силу окрепших призраков, хотел я сказать, но кстати вспомнил, что обещался говорить обиняками. Мы до сих пор жили чужою жизнью — вот уж один достаточно обширный призрак, перед которым должны побледнеть все второстепенные. От этого выходит, что мы, так сказать, пошли в семена прежде, нежели созрели: собачка маленькая, а уж вся словно параличом разбитая, огурчик маленький, а уж весь сморшился. Это бывает иногда со школьниками, которые с десятилетнего возраста начинают курить трубку и тянуть ром. К двадцати пяти годам из такого мальчугана обыкновенно образуется молодец-мужчина: и лысинка на голове появится, и щечки одрянутут, и глазки затекут... С наружной стороны — чистейший продукт английской болезни, усовершенствованной достаточными приемами суплемы, с внутренней — все помыслы, вся складка, вся, так сказать, непромокаемость государственного человека! Ему бы еще поидеальничать, ему бы за девушками побегать, а он мечтает о месте начальника отделения, он весь проникнут томными помыслами о том, как хорошо бы добраться до места начальника акцизных сборов! Жизнь опрокинута вверх дном, подсечена в самом основании; клавиша, которая для извлечения полного звука должна бы ударяться об три струны, с самого начала

ударяет об одну — что за звук, что за звук должен вылетать из этого разбитого, расхлябавшегося инструмента!

Впрочем, я должен раз навсегда оговориться, что, употребляя слово «общество», я разумею только так называемые верхушки его. Что делается внизу, какие призраки царствуют там, да и царствуют ли еще там какие-нибудь призраки, — я не знаю, да и вряд ли кому-нибудь это известно. Быть может, там даже вовсе нет призраков — это было бы недурно, если б можно было удостоверить, что самое отсутствие призраков не составляет также своего рода огромного призрака, который со временем разрастется в мириады маленьких. Во всяком случае, предупреждаю, что я намерен говорить о бельэтаже, а не о подвалах.

Итак, начнем беседовать обиняками.

Что такое призрак? Рассуждая теоретически, это такая форма жизни, которая сиится заключить в себе нечто существенное, жизненное, трепещущее, а в действительности заключает лишь пустоту. По-видимому, даже слово «заключать» тут неуместно, ибо призрак ничего не проникает, ни с чем органически не соединяется, а только накрывает. По-видимому, это что-то внешнее, не имеющее никаких внутренних точек соприкосновения с обладаемым им предметом; это одеяло, случайно наброшенное, одеяло блестящее или изорванное в лохмотья, но которое во всякое время, без боли для предмета, под ним находящегося, можно сбросить и заменить другим. Но все это только «по-видимому», все это только в отвлечении, в теории; на деле же призрак так глубоко врывается в жизнь, что освобождение от него составляет для общественного организма вопрос жизни или смерти, и во всяком случае не обходится без сильного потрясения. Не надо забывать, что хотя призрак, по самой природе своей, представляет для жизни лишь механическое препятствие, но он имеет сзади себя целую историю, которая успела укоренить в обществе дурные привычки, которая успела сгруппировать около призрака всю жизнь общества и, сообразно с этим, устроила ее внешние и внутренние подробности. Следовательно, если самый призрак и можно признать за что-то внешнее, то никак нельзя подобным же образом отнести к тем привычкам, которые он порождает.

Владычество призраков непременно предполагает большую или меньшую степень общественного растления. Общество, как и всякий человек, отдельно взятый, стремится к истине, то есть к благосостоянию материальному и нравственному; окольные пути, которыми оно при этом следует, уклонения и ошибки, в которые впадает, доказывают только то, что истина далеко и что для достижения общественного идеала надо переплыть через много морей, перейти через много гор. С этой точки зрения, всякое человеческое общество представляет собой организм высоконравственный, одаренный похвальными и заслуживающими поощрения намерениями. Но с другой стороны, эта самая жажда истины невольно делается причиной не только целого ряда бедствий для общества, но и полнейшей нравственной порчи его. Стремясь к истине и не овладевая ею, кроме колеблющейся под ногами почвы, оно невольным образом бросается навстречу первой истине, которая попадается ему на пути и в которой оно думает найти более или менее удовлетворительное разрешение тревожащей его задачи. Результат этого вынужденного положения — истина временная, идеал минуты, призрак. Призрак украшается пышными названиями чести, права, обязанности, приличия и надолго делается властелином судеб и действий человеческих, становится

страшным пугалом между человеком и естественными стремлениями его человеческого существа. Жизнь целых поколений сгорает в бесследном отбывании самой отвратительной барщины, какую только возможно себе представить, в служении идеалам, ничтожество которых молчаливо признается всеми. Понятно, какая темная масса безнравственности должна лечь в основание подобного отношения к жизни. Оно может быть сравнено только с положением человека, который, ненавидя свою любовницу, боится, однако ж, ее и вследствие того считает себя обязанным заявлять ей о своей страсти. С этой стороны, общество, этот высоконравственный организм, является организмом совершенно растленным, погрежденным, так сказать, в непрерывный разврат. Безнравственность является следствием нравственности — круг, из которого не выйдешь.

Виновато ли общество в том, что так легко подчиняется владычеству призраков? Властно ли оно выбирать между тою или другою истиной? Нет, не виновато и не властно. Истина надумывается сама собою, почва нарастает исторически; следовательно, винить и некого, и не в чем. Взятое в данный момент, общество уже застает призрак вооруженным с головы до ног и защищенным всевозможными стенами, окопами и подъемными мостами. Что может оно, безоружное и слабое, против таких, совсем не двусмысленных, доказательств силы? Ведь этого еще недостаточно, что общество многочисленно, что оно само заключает в себе немалую силу, чтобы с успехом бороться против призрака. Не надо забывать, что сила общества есть сила неорганизованная, рассеянная, сила, так сказать, не созидающая самой себя, кроющаяся под спудом; не надо забывать, что общество, как бы ни явственно оно сознавало обветшальность и пустоту призрака, все-таки воспиталось под влиянием его и вследствие этого не может вполне освободиться от суеверного страха, который внушает имя его. Повторяю: призрак вооружен и укреплен, общество, вступающее в борьбу с ним, безоружно, слабо и подкуплено, — обвиним ли мы его? Ответ, кажется, не может подлежать сомнению.

Но, устранивая от общества современного (или взятого в известный исторический момент) всякую ответственность в подчинении себя призракам, мы не можем не выказать точно такой же снисходительности и относительно отцов и дедов, которые, быть может, самым существенным образом содействовали укоренению и укреплению этих призраков. И для того чтобы достигнуть этого всеобщего оправдания, мы не имеем надобности даже призывать на помощь так называемую ограниченность человеческогоума, эту приятную канву, по которой искатели неизвестного и безграничного так охотно вышивают оправдательные узоры свои. Тут все дело просто заключается в том, что внешняя природа, отношения к которой, собственно, и составляют содержание человеческой жизни, представляет собой замкнутость, которая слишком скрупульно открывается человеку. Нормальные отношения к этой *belle inconnue*<sup>4</sup> возможны только под условием полного и всестороннего ее познания, а так как, с одной стороны, это познание приобретается путем трудным и медленным, а с другой стороны, отношения к внешней природе, хоть какие бы то ни было, должны же существовать, то отсюда открывается не только возможность, но даже совершенная законность и необходимость тех бесконечных скитаний по призрачным мытарствам, в которых сгорают лучшие силы человечества.

Итак, не отцы и не сверстники наши виноваты в том, что призраки тяготеют

над миром, а виноват в этом самый процесс наращения и надумывания, который происходит медленно и болезненно. В то время, когда общество начинает уже о чем-то догадываться, что-то подозревать, старая истина все остается в той же суеверной неприкосновенности и предъявляет всё те же права на общество, именно на том основании, что догадка и подозрение не составляют еще никакого существенного фонда для замены отживающей истины. Человек начинает ощущать потребность бога, а бог не открывается, а на месте его стоит все тот же безобразный кумир. Кумир этот исчерпал все свое содержание, он обессилен и не извлекает воды из гранита, а человек все еще простирается перед ним. все еще приносит ему жертву за жертвой. Какая горькая тайна присутствует в этой связи живущего с отжившим, в этом обоготовлении мертвячины? Тот, кто даст себе труд вдуматься в то, что сказано выше об отношениях человека к природе, конечно, не усомнится ответить, что тут и тайны никакой нет.

Всякий призрак имеет свою долю истины или, лучше сказать, всякий призрак есть истина, но истина, ограниченная в пространстве и во времени. Сверх того, всякий призрак есть протест против другого призрака, дряхлого и не соответствующего потребностям жизни. Сверх того, всякий призрак есть вместе с тем переходное звено от призрака прошлого и известного к призраку грядущему и неизвестному. Вот сколько внутренних нитей связывает человека с призраком, вот сколько прав имеет последний на жизнь общества! История человечества, от самой колыбели его, идет через преемственный ряд призраков — вопрос в том, где оно освободится от них, и освободится ли? Это составляет темную, мучительно-трагическую сторону истории (впрочем, светлой-то и успокоительной покуда и не обреталось). Младенческое состояние точных наук, порождающее исключительное господство спекулятивных знаний и допускающее беспрерывные новые открытия, которые ниспровергают все, над чем трудились, в чем не сомневались целые поколения, — все это такие преткновения, при существовании которых достижение идеала, то есть счастья, представляется чем-то крайне сомнительным, если не окончательно невозможным. Если я не уверен, что мое сегодняшнее знание есть знание действительное, если я постоянно нахожусь под страхом, что то, что я сегодня признаю за благо, завтра, при помощи новых данных, существующих расширить горизонт моей мысли, перестанет быть таковым, то очевидно, что ясность моего существования должна быть возмущена, что я не могу иметь ни спокойствия в настоящем, ни уверенности в будущем. Поистине, можно даже подумать, <что> в самом принципе развития и совершенствования, которому неуклонно следует человечество, уже заключается условие величайшего для него несчастья, и, конечно, человечеству было бы невозможно существовать, если бы впереди не блистала ему мысль, что цикл колебаний когда-нибудь да кончится. Что это за мысль и в какой степени осуществима она? Не составляет ли она, в свою очередь, призрака, величайшего из всех призраков? Не похоже ли в этом случае человечество на чернорабочего, который все работает и все чего-то ждет, какой-то перемены в своем неотрадном положении. «Вот еще немножко потерплю, вот вынесу еще несколько лишений, — повторяет себе бедняга, — и потом буду счастлив!» — а на поверку оказывается, что и еще приходится терпеть, и еще нести лишения. Человечество инстинктивно думает ту же думу и охотно увлекается всякою новою истиной, всяким новым призраком. На первых порах живется легко; на первых порах истина удовлетворяет всех, хотя

и действует обманом, то есть торжествует насчет общего нравственного возбуждения. Но обман обнаруживается; болезненное дерево, давшее ему жизнь, начинает гнить, увлекая за собой и плод... Нужно опять и опять идти, опять и опять искать... Куда идти? чего искать? Каких держаться руководящих истин?

В особенности ощутительно дает себя чувствовать эта трагическая сторона жизни в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не рождаются. Эти эпохи суть эпохи мучительных потрясений, эпохи столпотворения и страшной разноголосицы. Никто ни во что не верит, а между тем общество продолжает жить, и живет в силу каких-то принципов, тех самых принципов, которым оно не верит. Наружно, языческий мир распался, а языческое представление, а языческие призраки еще тяготеют всею своею массою; Ваал упразднен, а ему ежедневно приносятся кровавые жертвы; явления, подобные Юлиям Цезарям, Александрам Македонским, утратили всякий жизненный смысл, а в пользу их еще и доднесь работает человечество. Изменились подробности, но смысл и господствующий тон трагедии остался прежний. Что может быть безотраднее, постылее, возмутительнее, даже пошлее такого положения?

Читатель! случалось ли вам когда-нибудь ощущать, что возможность жить вдруг как-то прекращается? Случалось ли вам спрашивать себя, отчего мысль и руки отбиваются от дела, отчего еще вчера казалось светло, а нынче уже царствует окрест мрак? Отчего люди, жившие доселе в добром согласии, внезапно и искренно приходят к убеждению, что нет никакого разумного повода не только для доброго согласия, но и для простого совместного жительства?

Но это бы еще ничего. Люди, по каким-либо причинам приходящие к сознанию, что им вместе нечего делать, могут разойтись каждый в свой угол и там откровенно позабыть друг о друге. Отчего же они не забывают и не расходятся? отчего, напротив того, они ищут друг друга, чтобы сильнее питать в себе чувство ненависти и озлобления? Ужели и впрямь чувство ненависти может когда-нибудь сделаться единственою путеводною нитью жизни? ужели его одного достаточно, чтобы наполнить ее содержание?

Да; бывают такие черные дни в истории человечества, и, что тяжелее всего, они повторяются периодически. Жизнь общества утрачивает свой внутренний смысл и держится одним формализмом.

Авгуры последних времен Римской империи не могли без смеха взирать друг на друга и между тем все-таки продолжали ремесло свое. Положим, что это были люди бесстыдные, внутренно убежденные в ничтожестве своих заклинаний и рассчитывавшие на невежество масс, только ради личных выгод, да ведь и массы-то уже не верили в них, ведь и массы уже были достаточно прозорливы, чтобы оценить по достоинству безобразные кривляния распадающегося язычества: для чего же они так упорно держались этих кривляний? для чего они с таким озлоблением преследовали новую истину, робко возникавшую рядом с истиной умирающей? Не потому ли, что массы одарены здравым смыслом, не потому ли, что они инстинктивно понимают, что здесь не происходит ничего иного, кроме замены одного призрака другим, не потому ли, наконец, что они замучены жизнью и изверились в возможность ее? И между тем, несмотря на преследования, несмотря на отпор, новый призрак все-таки прокладывает себе дорогу, как вор подкапывается под основы старого призрака и наконец врывается-таки в самые святилища его. Общество торжествует и чувствует себя обновленным, но вместе

с тем скоро, очень скоро после первых порывов нравственного возбуждения с горьким изумлением замечает, что новые формы жизни, которых оно так жаждало и так жадно призывало, в сущности, составляют не более как новый же призрак...

Недаром летописи подобных эпох полны сказаний о самоубийствах: это факт в высшей степени знаменательный. Всем тяжело жить, но вдвое тяжелее ярмо жизни для людей мыслящих и чувствующих. Грандиозность жизненного течения исчезает, явления мельчают, вера в прогресс уничтожается, глазам представляется заколдованный круг... Чему верить? Сердце так полно жажды счастья, но вместе с тем так оскорблено и озлоблено, что с глубокою ненавистью отворачивается от этой исполненной тления жизни. Остается идти к ничтожеству, верить в ничтожество. Смерть делается властительницей дум, ибо она одна что-нибудь разрешает в этом хаосе бессмысленных противоречий, ибо она одна что-нибудь содержит в этой пучине пустоты. Представление смерти является чем-то сладким, отрадно усыпляющим: человек вдумывается в явления жизни, вдумывается в смысл смерти и доходит почти до опьянения, до обогатования ничтожества. Не узы, но освобождение от уз видит он в смерти, ибо для чего же и жизнь, если она ведет от одного противоречия к другому, от одного ничтожества к другому?

Из всего этого видно, что освободиться от призраков нелегко, но напоминать миру, что он находится под владычеством призраков, что он ошибается, думая, что живет действительно, а не кажущимся жизнью, необходимо. Не в силу того, что он окончательно сбросит с себя ярмо их, что он изобретением новой и всеобщей панацеи заключит нескончаемый цикл алхимии и астрологии и обратится к более простым и естественным отношениям к природе, но в той уверенности, что старые призраки все-таки заменятся новыми, что, наконец, может настать и такое время, когда призрак и в общем сознании перестанет казаться идеалом. Но ведь общество не будет через это выведено из области призраков? но ведь ему не будет от этого легче? Да, быть может, и не будет выведено (по крайней мере, в настоящую минуту, при настоящем положении наук, едва ли имеем мы право предвидеть что-либо похожее на возможность всеобщей гармонии), но легче ему все-таки будет; ему будет легче уже по тому одному, что оно перестанет относиться к призракам чародейственно, что оно поймет, что нет никакой необходимости трепетать там, где стоит только дунуть, чтобы разорить в прах целое здание. Ему будет легче уже потому, что всякий новый призрак все-таки приносит за собой большую против прежнего простоту и естественность отношений, а вместе с тем и некоторую частицу свободы. Это шаг не малый. Дикий вотяк перестал верить в своего идола, но он еще боится его, но он еще обмазывает его медом и сметаной, чтоб умилостивить. Очевидно, он делает это потому, что у него нет в виду другого готового призрака; он сознает уже, что идол, который доселе кабалил всю его жизнь, глуп, мертв и вообще неудовлетворителен, но еще не понимает, что другой-то призрак, которого пришествие он смутно предчувствует, не идет потому только, что он, вотяк, не вполне еще расквитался с своим старым, глупым идолом. Надо ему растолковать это и облегчить работу его освобождения; надо доказать ему, что освобождение необходимо должно сопровождаться оплыванием, обмазыванием дегтем и другими приличными минуте и умственному вотяцкому уровню поруганиями и что тогда только расчет с идолом будет покончен, когда последний будет до такой степени посрамлен,

что скверно взять его в руки, постыдно взглянуть на него.

Выше я сказал, что бывают минуты в истории, когда общество живет одним чувством ненависти, — это картина, конечно, очень печальная. Но скажите на милость, можно ли не ненавидеть, можно ли не сгорать от негодования, когда жизни путается в формах, утративших всякий смысл, когда есть сознание нелепости этих форм и когда тем не менее горькая необходимость заставляет подчиниться им, бог знает из-за чего, бог знает зачем? Ведь отсутствие раздоров тогда только понятно и возможно, когда жизнь катится и не дает себя чувствовать, а не тогда, когда она на каждом шагу подкашивает человека. Возьмем для примера хоть был наших помещиков. Было, конечно, время, когда они не только могли, но и должны были жить между собой в согласии, ибо их связывала одинаковая безмятежность взгляда на жизнь. В те счастливые времена не было ни глупых, ни умных, ни злых, ни добрых: просто было генерическое понятие помещика, под которым подразумевалось и очень много и очень мало. «Это помещик», — говорили россияне и понимали друг друга. Такого рода порядок вещей, конечно, должен был менее всего давать место раздорам, но и тут, однако ж, случалось, что самые задушевные приятели внезапно свирепели. Тем менее может существовать согласие в такую пору, когда безмятежие взгляда покончилось, когда всякий чувствует себя предоставленным своим собственным средствам. Тут прежде всего начинают различаться добрые и злые, умные и глупые; так называемые добрые и умные клянут глупых и злых, говоря, что последние мешают приступить к делу и что их пошлое упорство порождает в обществе междуусобие; так называемые глупые и злые проклинают умных и добрых, говоря, что существующий сумбур есть результат неумеренной их болтовни и ненужного сованья не в свои дела. Кто рассудит эту странную прю? кто поймет ее? Никто не рассудит и не поймет, ибо, как ни суди, как ни ставь на очные ставки враждующие стороны, ни одна из них не уступит ни на волос.

Г-н Тургенев был прав, изображая в «Отцах и детях» скрытный антагонизм, существующий между двумя половинами русского общества, но, в качестве наблюдателя, он был неправ, симпатизируя одной стороне и указывая на пороки другой. Здесь место не для симпатий, а для простого наблюдения: берите факт, как он есть, и если вы почему-либо не уразумеваете его законности, то изображайте его, не рассуждая. И еще не прав г. Тургенев, заставляя своего героя погибнуть жертвой случайности: такого рода люди погибают совсем иным образом. Конечно, случайность и в их существовании играет большую роль, но это случайность не слепая, посредством которой разрешил свой роман г. Тургенев, а продукт целого случайного порядка вещей.

Может показаться несколько парадоксальным, тем не менее совершенно верно, что распри, подобные замеченным выше, кончаются лишь взаимным истреблением враждующих сторон. В сущности, что представляют собой и та и другая стороны? Они представляют один и тот же принцип, только в одном лагере он является несколько смягченным, в другом — в своих первоначальных грубых формах. Кто кого хуже? Кто кого лучше? Одни (добрые и умные) хотят подновить старый призрак, подрумянить помертвевший его образ и расправить морщины. Результат их работы — наивное самообольщение; двигатель — русское авось. Они не понимают, или не хотят понимать, что всякий призрак держит за собой целую систему и что тут невозможно дотронуться ни до единой подроб-

ности без того, чтобы не подрыть всего общественного здания. Другие (глупые и злые) видят в старом призраке совершенство, не терпящее нахального прикосновения непосвященных, и, действуя логически, отстаивают его и в целом, и в подробностях. Следовательно, и в том и в другом случае закваска убеждений одинакова, разница только в мелочах; это просто дело деревенских кумушек, повздоривших между собою из-за того, где больше денег: в пятикопеечнике или в семитке с трешником?

Откуда же этот глубокий антагонизм между людьми, по-видимому, столь близкими? Причина его заключается именно в этой близости. Чем ближе люди друг к другу, чем яснее они сознают, какие бы они могли быть отличные малые, если бы плутовали заодно, тем большая сумма взаимной ненависти накапливается в их сердцах. Нет вражды более сильной, как та, которая закипает между членами одной и той же семьи; здесь всё ее питает: и беспрерывное наблюдение за малейшими подробностями жизни, и научничество, и сплетни. Раскольник без омерзения станет пить из одного сосуда с язычником и магометанином, но ни за что на свете не разделит трапезы церковника; «язычник, — говорит он, — не зная, Христа предал, а церковник предал его со знанием»...

Таковы признаки эпохи разложения: с одной стороны, всеобщее глубокое междуусобие, имеющее чисто внешние причины, с другой — всеобщее безверие, но безверие робкое, скрывающееся под личиной самого рабского лицемерия. Что такое долг? что такая честь? что такое преступление? что семья? что собственность? что гражданский союз? что государство? вот вопросы, которые задает себе современный человек: он бледнеет и трусит уже от одного того, что вопросы эти представляются ему; он готов сказать: «Нет, я не был при этом, нет, я ничего не видел и не слыхал», — вся кому, кто был бы настолько любознательен, чтобы спросить, каковы его мысли насчет того или другого вопроса. Это тоже весьма характеристический признак, который, вместе с междуусобием и безверием, очень ярко обрисовывает эпоху разложения. Между тем вопросы эти разрешить необходимо, потому что на тех понятиях, которые они выражают, зиждется целое общество. Сохранили ли эти понятия тот строгий смысл, ту святость, которые придавало им человечество в то время, когда они слагались; если не сохранили, то представляется ли возможность возвратить им утраченное? Вот на что следует дать ответ немедленно. Конечно, будет очень странно, если ответа этого не сыщется, и еще страннее, если показания окажутся разноречивые; конечно, это ясно укажет, что общество не имеет твердых понятий даже о том, что оно выставляет напоказ, как главную основу своей жизни, но ведь и это, пожалуй, будет уже составлять результат, и притом результат весьма положительный.

Главное дело — не оставлять себя в заблуждении. Выгода тут двоякая: во-первых, соблюдается экономия сил (ибо только вполне обладая предметом, человек приобретает уверенность, что не истратит себя по-пустому); во-вторых, самые призраки стираются быстрее, давая место новым призракам и, таким образом, держа человечество в постоянном увлечении, в постоянной работе.

Но да не подумает читатель, что я имею претензию беседовать с ним о столь важных предметах. Мое дело — призраки, а не такие представления, которые составляют, так сказать, краеугольный камень общественного благосостояния.

Спросите, например, у любого обывателя из простодушных, что такое семья? Семья, скажет он, известно семья: муж, жена и дети; точь-в-точь как у г. Успен-